

И. СЕРГИЕВСКИЙ

Александр Блок — критик

Блок на протяжении почти всей своей жизни многочисленными и многообразными нитями был связан с тем литературным направлением, которое вошло в историю русской литературы под именем символизма. Однако сейчас уже совершенно ясно, что в ряду других деятелей этой школы он занимал вполне своеобразное, обособленное место. Он стал великим национальным поэтом.

В конце жизни Блок пришел к жестким выводам, что символизм, как «школа», как «направление», вообще представлял собою нечто мнимое, своего рода историческую фикцию — мечту, фантазию, выдумку или надежду некоторых представителей нового искусства, но никогда не существовал в русской действительности. «Мне скажут, что были в эти годы литературные кружки, были журналы и издательства, вокруг которых собирались люди одного направления, возникали целые школы», — развивает он свою мысль. «Все это было, или скорее казалось, что было, но все это никогда не убеждает меня, потому что плодов всего этого я не вижу, плодов этих нет, потому что ничего органического в этом не было».

Может быть эти выводы несколько прямолинейны в своей категоричности, но, так или иначе, неоспоримо одно: представления Блока о сущности искусства и назначении художника, его оценки отдельных конкретных явлений текущей литературной действительности определялись не его связями с символизмом, а слагались под решающим воздействием идейного наследия русской классической литературы.

Он пропагандирует высокое, идейно-насыщенное искусство, обращенное к большим проблемам и большим жизненным общением: «Только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими малыми силами; писатель ведь — звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть не свершившиеся, свои замыслы, пусть недовершенные». Дальше Блок конкретизирует эту общую формулу применительно к литературной обстановке, сложившейся «между двумя революциями»; писатели, «если они — поэты-лирики, их должно мучить одинокое болото, освещенное розовой зорькой; если беллетристы... пусть помнят, что никто из них до сей поры не указал, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту спрашивает, как быть; если они драматурги, пусть они знают, что еще ни одна из современных драм не осветила по-настоящему будни жизни, не принесла очищения».

В представлениях Блока литература имеет право на существование лишь тогда, когда она неразрывно связана с народом и когда она служит интересам народа. «Ритм нашей жизни — долг. В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически итии единственно необходимым путем. Это — самый опасный, самый узкий, но и самый прямой путь. Только этим путем идет искренний художник. На нем испытывается его подлинность, так же как опытность капитана испытывается в самых опасных проливах. Здесь только можно узнать, руководит ли художником долг — единственное проявление ритма души человеческой в наши безрадостные и трудные дни, — и только этим различается подлинное и поддельное, вечное и невечное, святое и кощунственное».

Лишь тогда литература достойно выполняет свое назначение, когда она является «тем, чем только и может быть литература — служением. Пока нет у литератора элементарных представлений о действительном значении ценностей — мира и человека... до тех пор как-то болезненно принимает душа всякую пестрядь, хотя бы и пышную». «Писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя с своей родиной, догадывает, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею, и в те минуты, когда ее измученное тело хоть на минуту перестают пытаться, чувствует себя отдыхающим вместе с нею».

Так называемое «чистое» искусство, оторванное от жизненной действительности, а тем самым от борьбы за переустройство мира, по мнению Блока, неизбежно становится орудием общественной реакции. «Когда начинают говорить об «искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое зани-

мает поэзия, и т. д., и т. д. — это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно... «Чистая поэзия» лишь на минуту возбуждает интерес и споры среди «специалистов»; споры эти потухают так же быстро, как вспыхнули, и после них остается одна оскомина; а «большая публика, никакого участия в этом не принимающая и не обязанная принимать, а требующая только настоящих живых художественных произведений, верхним чутьем догадывается, что в литературе не совсем благополучно, и начинает относиться к литературе новейшей совсем иначе, чем к литературе старой». Эти строки написаны Блоком всего за год до его смерти. Но здесь он лишь в наиболее сгущенной форме высказывает мысли, бродившие в его сознании давно. Задолго до этого ему было уже ясно, что «великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического» характера. Только то, что было исповедью писателя, только то сознание, в котором он сжег себя до дна, — для того ли, чтобы родиться для новых созданий или для того, чтобы умереть, — только оно может стать великим».

В свете этих суждений мечты Блока о «толстом журнале с традициями добролюбовского «Современника», о котором упоминает он в одной из своих дневниковых записей, приобретают особый смысл: его собственные литературные взгляды ближайшим образом перекликаются с передовой демократической эстетикой шестидесятников.

Именно с этих позиций подходит Блок к оценке русской литературной действительности своего времени. Декадентская литература сурово и безоговорочно осуждается им прежде всего в силу своих антиобщественных тенденций.

«На-днях один писатель (не моего поколения) рассказывал мне о прежних литературных вечерах; бывали они очень редко и всегда отличались особой торжественностью», — писал Блок. «Нечего и говорить о том, почему был прав Достоевский, когда с эстрады «жег сердца людей» «Пророками» Пушкина и Лермонтова. Это было торжество неслыханное, — и разве можно было не запомнить такого «явления» Достоевского «народу» на всю жизнь? Но почему потрясали сердца: Майков со своей сухой и изящной декламацией, Полонский с торжественно протянутой и романтически дрожащей рукой в грязной белой перчатке, Плещеев в серебряных сединах, зовущий «вперед без страха и сомненья»? Да потому, говорил мне писатель, что они как бы напоминали о чем-то, будили какие-то уснувшие струны, вызвали к жизни высокие и благородные чувства. Разве есть теперь что-нибудь подобное, разве может быть? Из моих личных впечатлений есть разве одно подобное: это, — когда Н. А. Морозов читал свои стихи — тоже плохие, конечно, еще гораздо хуже плещеевских. Но когда он читал их, я слышал, что он хотел передать ими слушателям, видел, по приему и лицам аудитории, что ему удалось это, — и готов был сказать (как и теперь готов), что стихи Н. А. Морозова не только можно,

а пожалуй и нужно читать на литературных вечерах, стихи же любого из новых поэтов читать не нужно и почти всегда — вредно».

Вредно потому, что новые поэты еще почти ничего не сделали; потому, что нельзя приучать публику любоваться на писателей, у которых нет ореола общественного, которые еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы; вредно потому, что нельзя приучать публику к любопытству насчет писателей в ущерб любознательности насчет литературы; вредно потому, что большинство новых произведений (исключая бесчисленные фабрикации и подделки) недоступно большой публике, и она права, когда чистосердечно ничего не понимает; вредно потому, что все это, вместе взятое, порождает атмосферу не только пошлости и вульгарности, — хуже того: вечера нового искусства в особенности, а также все остальные, примыкающие к ним, по нашим временам, очень тесно, порождая все пережитое, тем самым становясь как бы ячейками общественной реакции; как бы ни были крохотны и незначительны эти ячейки в круговороте нашей жизни, они делают свое медленное дело неуклонно. Потому, будучи глубоко убежден в правоте своих выводов, основанных на личном опыте, и видя в этом дело общественной совести, я обращаюсь к писателям, художникам и устройствам с горячим призывом не участвовать в деле, разлагающем общество, т. е. не способствовать размножению породы людей «стиля модерн», дни которых сочтены. Общество интеллигентное и без «вечеров нового искусства» довольно пропитано ядами косности и праздности, и прибавлять хоть каплю в море дурных инстинктов есть дело, недостойное художника и гражданина».

Полны гнева выступления Блока против реакционной религиозно-философской публицистики того времени, против конкретных носителей ее, которые «несколько лет возвещали с кафедр религиозно-философских собраний гордые истины... самоуверенно поучали, надменно ехидствовались, сладострастно полемизировали с туполобыми попами». «Теперь они опять возобновили свою болтовню, — пишет поэт, — все эти образованные и ехидные интеллигенты, посевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, — вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мельканье слов... И вот — один тоненький, маленький священник в белой раске выкликает Иисуса — всем неловко; один честный, с шишковатым лбом, социал-демократ, злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным, доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция...»

Декадентскую литературу в целом Блок оценивает как «словесный кафешантан», а

о деятелях ее отзывается как о людях, которые «сами сгноили себя — свои мускулы, свою волю — на религиозных собраниях и на вечерах свободной эстетики».

Болезненному, ущербному декадентскому псевдоискусству Блок противопоставляет здоровое реалистическое искусство: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека — маленького и могучего... Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на «проклятые вопросы» — к сожалению. Им ни почем, что столько нищих, что земля круглая. Они под крылышком собственного «я»».

Закономерен постоянный интерес, пылкое и пристальное внимание Блока к творчеству Горького. Правда, его отзывы о Горьком противоречивы, иногда — отяжелены ходячими штампами символистской фразеологии. Но при всем том Блоку свойственно удивительно четкое понимание Горького как народного писателя, подлинного выразителя дум и чаяний народных масс. «Я утверждаю, — писал он, — что... если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем Руси, — то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького... Неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по бесконечности идеала... и по масштабу своей душевной муки — Горький — русский писатель».

С исключительной теплотой отзывался Блок о творчестве писателей «знаньевцев». «Как по обрыву над большой русской рекой располагаются живописные и крутые груды камней, глинистые пласты, сползающий вниз кустарник, так и здесь есть прекрасное, дикое и высокое, есть как-то задумчивая жажда подняться выше, подниматься без отдыха» — пишет Блок о писателях «знаньевцах». — «Так свойственно русской литературе это упорное... стремление к писательству, что нельзя обойти молчанием и этих малых. И это не графомания, которой страдают скорее культурные слои литературы. Среди так называемых «декадентов» гораздо больше «графоманов», чем в среде задумчивой, черноземной или революционной беллетристики последних лет. Есть и среди последних просто хилые и вялые «недотыкомки», но в общем они здоровы и бодрый... Все они — «братья-писатели», и в их судьбе «что-то лежит роковое». И в них есть какое-то глубоко человеческое бескорыстие и вот та самая непреднамеренность и свобода, с какою кусты, камни и глина, расположились на крутом берегу откосе русской полноводной реки. «Культурная критика» последних лет взяла обычай пренебрежительно отзываться об этой литературе, имена ее тружеников употреблять во множественном числе и повертываться к ней спиной. Я решаю спросить иных из этих критиков, читали ли они внимательно тех авторов, о которых говорят свысока».

Сквозь дымку времени Блок ясно различал величественные силуэты могучего всенародного искусства будущего и горячо призывал своих современников достойно встретить его приход. «Наши сны — близки к действительности» — говорил он. — «Слова наши готовы воплотиться. И весна наша — поздняя весна, и на небе уж грозные тучи. Слова героини великой символической драмы Островского сбываются, ибо идет на нас Гроза, плывет дыхание сжигающей страсти, и стало нам душно и страшно. Не сегодня — завтра постучится в двери наших театров уже не эта пресыщенная толпа современной интеллигенции, а новая, живая, требовательная, дерзкая. Будем готовы встретить эту юность. Она разрешит наши противоречия, она снимет груз с усталых плеч, окрылит или погубит. И мы вовеки не забудем пророческих слов великого строителя, Сольнеса, проникнутых вешним, грозным трепетом: Юность это — возмездие».

Ныне грезы Блока о будущем стали для нас настоящим. В своих исполненных увядающей прелести стихах о России, в своих бессмертных поэмах революционных лет — «Двенадцать» и «Скифы» — Блок поднялся на такую высоту, что встал в одном ряду с крупнейшими нашими писателями, имена которых составляют законную славу и гордость нашего народа.

Деятельность Блока как теоретика искусства и литературного критика — образец честного и целомудренного, страстного и свободного от предрассудков служения художника своему родному делу.



Дом в Шахматове с новой боковой пристройкой, сооруженной по желанию А. Блока. В верхнем этаже пристройки окно его кабинета.